

С 54

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ

Р 302/3

# СОЛОВЕЙ



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

№ 43-44

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“

МОСКВА—1942



ЛЕОНИД СОБОЛЕВ

# СОЛОВЕЙ

ФРОНТОВЫЕ РАССКАЗЫ

Издательство „Правда“  
Москва — 1942

Отв. редактор Е. ПЕТРОВ

Издательство „Правда“		Изд. № 619
А61475	Заказ типогр. 1608	Тираж 50.000
Формат бумаги 105×148 мм.	Печ. л. 2.	Зн. в 1 п. л. 43 200
Цена 30 коп.	Подписано к печати 27/УШ 1942 г.	

Тип. „Красное знамя“. Москва, Сушевская, 21

## СОЛОВЕЙ

На фронте под Одессой работал отряд разведчиков-моряков. По ночам они пробирались в тыл румынам, проползая на животе между минными полями, переходя по грудь в воде осеннего лимана, забираясь на плюшке далеко за линию фронта. Они снимали часовых ударом штыка или кинжала, забрасывали гранатами хаты со штабами, сидели под обстрелом своих же батарей, корректируя огонь, — неуловимые, смелые, быстрые «черные дьяволы», «черные комиссары», как с ужасом звали их румыны.

Среди них был электрик, красивый и статный моряк с гордыми усиками, которого за эти усики и за любовь к кавалерийским штанам прозвали «гусаром». Галифе, армейские гимнастерки и пилотки были вызваны необходимостью: не очень-то ловко ползать по болотам в широких морских штанах и флотских ботинках. Разведчики изменили морской форме, но «морская душа» — полосатая тельняшка — свято сохранялась на теле и синела сквозь ворот неоспоримым доказательством принадлежности к флоту, и на пилотке под звездочкой гордо поблескивал якорек.

В жаркий пыльный день шестеро разведчиков шли через Одессу из бани. Пить хотелось нестерпимо. Но пить в городе хотелось всем, и у ларьков толпились очереди. Моряки со вздохом прошли три ларька, поглядывая на часы. Стать в очередь у них нехватало времени. Внезапно им повезло: с неба раздался характерный жужжащий вой мины. Это было на краю города, куда мины порой залетали, и звук их — противный, ноющий, длинный — был хорошо знаком одесситам. Очередь распалась, люди попрыгали под защиту каменных стен домов.

Но мина не взорвалась. Она проняла свою скверную песню и бесследно пропала. Зато у освободившегося ларька, откуда привычный ко всему продавец так и не ушел, уже стоял «гусар» и с наслаждением тянул содовую воду, приглашая остальных моряков.

Оказалось, что «гусар» был одарен необыкновенной способностью к звукоподражанию. Из его розовых полных губ вылетали самые неожиданные звуки: свист снаряда, хлопанье курицы, визг пилы, вой мины, щелканье соловья, шипенье гранаты, лай щенка, отдаленный гул самолета. И способности эти, едва они только обнаружились, были немедленно обращены на пользу дела.

«Гусара» объявили «флагманским сигнальщиком», разработали целый код и понесли его на утверждение командиру. Хлопанье курицы означало, что у хаты замечен часовой, крик утки, — что часо-

вых двое. Пулеметчик, замаскированный в кустах, вызывал жалобный посвист иволги. Место сбора ночью после налета на румын определялось долгим пением соловья, который с упоением артиста самозабвенно щелкал в кустах или у шлюпки.

Вечерами, когда разведчики отдыхали после опасного рейда, «гусар» устраивал в хате концерт. Моряки лежали на охапках сена, и он, закинув руки за голову, свистел.

В темной хате, где свежо и тонко пахло сеном, он свистел чисто и сильно,—и верный, прозрачный его свист, которому аккомпанировали глухие, непрерывные гулы своих и чужих орудий и взрывов (постоянная симфония осажденной Одессы), звучал далекой мечтой о мирной, спокойной жизни, о ярком свете на улицах и в залах, о белых нарядных платьях и чистых руках, о забытом, утерянном спокойствии, уюте и доме. Моряки слушали молча, и когда замирал последний, утончающийся и переходящий в хорошую умную тишину звук, гигант-комендор тем глухим урчанием, которое иногда слышишь в могучей дымовой трубе линейного корабля, негромко басил:

— Ще давай... Гарно свистишь.

И моряки лежали на сене и думали каждый о своем: о прошедшем удачно ночном набеге, о раненом друге, о письме от далекой семьи, о жизни, судьбе и победе и о том, что будет еще — непременно будет! — жизнь с такой же тишиной и о мечтательной песней. И орудия за стенами хаты

извергали металл и крошили тех, кто нарушил нам эту жизнь.

В очередном походе в румынский тыл «гусар» остался в шлюпке в камышах — охранять это единственное средство возвращения к своим и, как обычно, быть «флагманским сигнальщиком». Ночью моряки натворили дел в тылу, сняли два пулемета, взорвали хату с румынским штабом и к шести утра возвращались к шлюпке. Крадучись, они подходили к камышам. Одного несли на руках — его ранило разрывной пулей в бедро, двоих товарищей недосчитывались. В камышах все прилегли отдохнуть и стали слушать ночь, чтобы определить, где находится шлюпка.

В ночи пел соловей. Он щелкал и свистал, но трели его были затруднены и пение прерывисто. Порой он замолкал. Потом пение возобновлялось, но такая тоска и тревога были в нем, что моряки толкнули друг друга. Они оставили тяжелое тело раненого под охраной и кинулись на свист соловья.

«Гусар» лежал в шлюпке навзничь. В темноте не было видно его лица, но грудь его была в липкой крови. Автомат его валялся на дне, все диски были пусты. В камышах моряки наткнулись на трупы румын. Очевидно, они обнаружили днем шлюпку, и здесь был неравный бой.

«Гусар» не узнавал родных голосов. Он лежал на спине и хрипел тяжело и трудно. Потом он набирался сил, и тонкий свист вылетал из-под его



усиков сквозь непослушные, холодеющие губы. Не видя, не сознавая, что те, кому он должен был дать спасительный сигнал, уже вернулись к шлюпке, он продолжал свистеть. Он все свистел и щелкал, даже тогда, когда все сели в шлюпку и, осторожно опустив весла, пошли по тихому темному морю.

И соловей — птица кустов и деревьев — пел и щелкал над морем. В шлюпке молчали, и только иногда шумно и долго вздыхал огромный комендор, лежавший рядом с «гусаром».

«Гусар» все свистел, замирая, отдыхая, трудно вытягивая воздух. Он все свистел, и небо над морем стало розоветь, и пение соловья перешло в мелодию.

Оборванная, изуродованная, как и его тело, она металась над светлеющим морем последней жалобой, и моряки на шлюпке гребли яростно и быстро, прислушиваясь, свистит ли еще их соловей.



## В ЛЕСУ

Из глубокого безразличного забытья стало смутно возникать неопределенное чувство тяжести в ногах. Оно беспокоило все сильнее, и наконец мышцы сократились тем бессознательным движением, которым спящий устраивается поудобнее. Но что-то помешало подогнуть ноги, и это дало в мозг тревожный сигнал. Первая, еще не ясная мысль подсказала, что на ноги спять навалился Коля Ситин, сосед по нарам. Резким, уже сознательным движением лежавший попытался высвободить ноги. Тогда он почувствовал боль и открыл глаза.

Несколько мгновений он смотрел перед собой, щурясь от яркого света и пытаясь понять, почему он лежит в снегу, придавленный елью, густые ветви которой образовали над ним плотный шатер.

Сквозь остро пахнущую морозом и смолой зеленую хвою, нависшую у самого лица, ослепительно белел снег. Отягощенные им широкие лапы елей были неподвижны. Глубокую тишину зимнего леса нарушало чье-то прерывистое дыхание рядом.

Он прислушался. И, вдруг поняв, что так громко дышит он сам, тотчас широко раскрыл рот. Вместе с этой осторожностью разведчика окончательно

проснулось сознание, и, сразу вспомнив, где он и что с ним, он покрылся горячим потом. Сердце, сорвавшись, забило гулко и часто, нельзя уже было удержать его бешеный стук, наполнивший, казалось, весь лес. Тошнотная истома поднялась от ног, заливая все тело сонной, проклятой, бездейственной вялостью. Это был страх, обыкновенный животный страх, отчаянный протест живого человеческого тела, внезапно увидевшего себя в ловушке, из которой выход один — в смерть.

Он попытался понять свое положение. Во враждебном лесу, беспощадно освещенном солнцем, он лежал совершенно один, почти безоружный, только с гранатой у пояса, лежал, прижатый елью. Она укрывала его от точной пули снайпера, но придавила, а может быть, и перебила ноги. Винтовка была вышиблена из рук тем тяжелым и горячим ударом, который выбросил его сюда, к подножию сосны, ударил о снег и погрузил забытью.

Ночью их было двое — сам Колобанов и беспокойный его сосед по землянке Коля Ситин. Ползком они добрались сюда в белых халатах, бесшумные и осторожные, разведчики морского отряда. Вон в той заросли ельника они лежали долго, прежде чем выползти на сткрытый снег между ельником и колоннадой сосен. Они лежали и слушали лес. Опытное ухо различало далекий звяк оружия и шуршание там, за соснами, но здесь все было тихо.

Тогда Ситин надавил ему кисть руки два раза и погода еще раз, что означало «иду вперед один», и выполз из ельника. Он исчез в трех шагах, ползя по снегу неясной тенью, медленно и беззвучно, как умел это делать только он сам. Но все же рядом щелкнул негромкий и сухой снайперский выстрел, будто хрустнул под ногой сук, и опять в ночи стала глубокая лесная тишина.

Колобанов подождал пять—десять минут. Но Ситин не возвращался. Тогда он пополз вперед, чтобы помочь ему, если он ранен, или убедиться, что он погиб. Но на четвертом метре близко щелкнул выстрел, у плеча взметнулся снег, и пришлось надолго замереть, выжидая, пока у невидимого снайпера не зарядит в глазах от пристального всматривания в темноту.

Но скоро кто-то дернул его за правый валенок: Ситин, «разведчик-невидимка», как прозвали его в отряде, оказался уже сзади. Колобанов отполз назад в ельник и прилег к другу. Жаркое дыхание того грело ему щеку, и можно было угадать, что он улыбается озорной возбужденной улыбкой охотника, напавшего на дичь. Без шопота, одним горячим дыханием, Ситин сказал: «Полно кукушек... давай по ельнику... пошупаем, что справа?..» И тотчас гибкое его тело скользнуло в чащу. Колобанов пропустил его вперед и пополз, осторожно отодвигая торчащие из снега ветки. Тут впереди встал огненный столб, тяжелый воздух опалил ли-

цо. И, успев еще почувствовать, что его несет не-  
удержимой силой взрыва, Колобанов потерял соз-  
нание.

Теперь он понял, что его кинуло в какую-то  
яму и завалило елью, вырванной с корнем. Не ше-  
велся, он разглядывал сквозь хвою ельник, снег  
и деревья, отыскивая Колю. Потом он увидел на  
розовом снегу нечто страшное и закрыл глаза.

Он был один. Это было несомненно. И это был  
конец.

День едва начался. Разящий, беспощадный сол-  
нечный свет заливал лес, и на деревьях сидели  
снайперы, те, кто охотился за ним ночью. Оста-  
вить яму было невозможно. Ждать ночи — на это  
в теле не хватило бы тепла.

Солнце переползало по пышным елям, желтым  
стволам сосен. Все это было медленно.

Он думал обо всем, кроме леса, тишины и света.  
Он представлял себе темную украинскую ночь, за-  
пах вишен, журчанье у запруды. Он вызывал в па-  
мяти всякую темноту, которую когда-либо знал.  
Он думал только о темноте — любовной, боевой,  
усталой и сонно-ночной.

Время потеряло смысл. Оно не двигалось, и тем-  
нота, казалось, никогда не могла наступить.

Отчаяние охватило его. Он нащупал гранату.  
Это было бы проще всего. Стоило сорвать кольцо,  
и он будет лежать спокойно, как Коля Ситин... И  
не нужно будет считать удары сердца, искать, как  
переместилась тень от сосны. Не нужно будет

ждать и ждать, когда ждать было невыносимо.

Он посмотрел на розовый снег возле неподвижного тела и вдруг почувствовал у щеки жаркое дыханье друга, его беззвучный шопот, озорную улыбку и тут же подумал, что так, наверное, шептал Коля ласковые слова в чье-то девичье ухо, отодвигая дыханьем завитки волос. И снова страстная жажда жизни охватила его. Надо было жить, чтобы отомстить тем, кто навсегда остановил это жаркое дыханье. Мысль эта показалась ему важнее всего, и он напрягал мышцы, разогревая тело для схватки, мозг для выдумки, душу для ненависти.

Тишина леса внезапно разорвалась. Сухо и раскатиисто треснул воздух, ветви елей зашевелились, снег пышными клоками упал вниз с нескольких ветвей. Снова и снова рвалось где-то вверху небо, и Колобанов понял, что это начался обстрел леса: наши орудия били шрапнелью над деревьями, спугивая снайперов. Лес ожил. Падали ветви, надсеченные горячим металлом. Рядом с визгом упал осколок. С шумом вылетели две черные птицы. Выскочила белка и юркнула в гущу ветвей, заколебав их и осыпав пушистые комья.

И тогда с недалекой сосны неуклюже и медленно, цепляясь за ветви, пополз вниз человек.

Он был в чужой, но знакомой одежде, закутанный, обвязанный, готовый к долгому морозу. Он спускался безоружный, оставив в ветвях автомат, из которого бил ночью по разведчикам, Жаркая

волна пробежала по телу Колобапова и едва не подняла его из-под ели. Потом он передумал и осторожно потянулся за гранатой, не опасаясь раскрыть себя: тецерь снайперу было не до шевеления ели — осколки свистели по лесу, и он сам торопился в укрытие. Колобанов вытянул ноги из-под ели, сжался в комок, готовый к прыжку, к броску гранаты и к быстрому бегу в ельник, но тут что-то тяжелое и теплзе обрушилось на него.

Не понимая еще, что это, он ударил локтем назад, услышал стон и мгновенно перевернулся под навалившейся на него тяжестью.

Это был второй снайпер, тот, который сидел на сосне над Колобановым и теперь спустился с нее, спасаясь от шрапнели. Схватка была короткой и страшной. Враг тянулся за кинжалом к поясу. Колобанов, придавливая ему руку, искал оружия. Граната снова попалась ему под руку, и, взмахивая ею, он ударил врага по голове, как молотком, несколько раз, пока тело того не ослабело.

Дрожа от гадливости, он вытащил у него из-за пояса кинжал и сделал то, чего требовала эта внезапная встреча в яме. Потом он поднял ветви ели, высунув голову, и осмотрелся, не таясь. Шрапнель продолжала визжать между ветвей, воздух рвался с треском, обстрел шел плотно и беспощадно. Он посмотрел на убитого врага, взглянул на сосну, примерился — и полез наверх.

Между ветвями он нашел логово кукушки. Здесь были автомат, обоймы, мешок с продовольствием,

бинокль, фляга — все, что нужно, чтобы просидеть на дереве до смены хотя бы трое суток. Шрапнель визжала и свистела в воздухе, и Колобанов в первый раз за все это время раскрыл рот.

— Толково наши бьют, — сказал он громко. — Где ж им под таким огнем усидеть..

И он поудобнее устроился на ветвях, взял в руки автомат и стал ждать, вжимая голову в плечи, когда над лесом с треском рвалась шрапнель.

Первой его добычей стал тот снайпер, которого он видел спускающимся в укрытие. Едва кончился обстрел, тот высунул голову из окопчика, как крыса, нюхающая воздух. Колобанов подвел мушку к подбородку, но передумал. Он дал ему взобраться по сосне до половины и тогда выстрелил в затылок. Снайпер опустил руки и грянулся в снег, и было похоже, что его подбила шрапнельная пуля.

Вторую добычу пришлось ждать долго. Лес был пуст; видимо, тут только и были эти два снайпера. Колобанов взял бинокль, осторожно повернулся и стал смотреть сквозь ветви назад. Солнце уже клонилось к закату, когда он увидел вдалеке фигуру офицера, вышедшего из блиндажа. Колобанов выстрелил ему в голову. Офицер упал. Тотчас выскочили еще двое и кинулись к нему. Они рухнули рядом.

Подошла темнота, и можно было уходить. Но Колобанов остался на сосне. Он ждал новой смены..

Она пришла, когда было совсем темно. Солдаты — четверо — шли уверенно и не остерегаясь,



Возле убитого снайпера они наклонились, переворачивая его и совещаясь. Одни за другим все четверо упали: двое на труп, третий у сосны, куда он отскочил, четвертый — на снегу, рядом с телом Ситина, смутно черневшим в белесой темноте.

Теперь было ясно, что стрельба привлечет врагов. И скоро Колобанов увидел в темноте огоньки, вспыхивающие там и здесь. На сосну повели правильную осаду. Пули свистели рядом, сдирали кору на стволе, но ни одна пока не задела Колобанова. Переждав, он бесшумно и ловко спустился во тьме в яму.

Там он приготовил гранату, положил ее рядом с собой и высунул из ветвей автомат. Стрельба учащалась. Люди подходили ближе. Он искал во тьме, где появится смутный силуэт, но видел только огоньки. Снег падал на него вместе со срезанными ветвями — вершину сосны обстреливали часто и сильно. Он ждал.

Потом стрельба прекратилась, очевидно, враги подумали, что гнездо опустело. Послышались громкие голоса. К сосне подошли.

Колобанов поднял глаза, взглянул на небо. Звезды сияли на нем морозно и ярко. Он пододвинул гранату и положил ствол автомата на труп бывшего хозяина гнезда, как на бруствер окопа.

Но небо вновь раскололось, и вокруг завизжали осколки: наши вновь начали обстрел леса. Колобанов взял гранату, положил обоймы в карман и, выставив вперед автомат, пополз к ельнику.

## ТАТЬЯН

Знакомство наше было необычным. В свежий октябрьский день, когда яркое одесское солнце обманчиво сияет на чистом небе, а ветер с севера гонит сухую холодную пыль, разговаривать на воздухе было неудобно. Поэтому моряки-разведчики позвали меня в хату. Мужественные лица окружили меня — загорелые, обветренные и веселые. В самый разгар беседы вошли еще двое разведчиков.

Оба были одеты до мелочей одинаково: оба в новеньких кителях и защитных брюках, заправленных в щегольские сапоги, в кокетливых пилотках, и оба были обвешены одинаковым числом ручных гранат, пистолетов, фонарей, запасных обойм. Но если на гигантской фигуре одного такой арсенал выглядел связкой мелких брелоков, то второго этот воинственный груз покрыл сплошной позвякивающей кольчугой: один из разведчиков был вдвое выше другого.

Видимо, мой любопытный взгляд смутил маленького разведчика. Нежные его щеки, еще налитые свежестью детства, зарделись, длинные ресницы дрогнули и опустились, прикрывая глаза.

— Воюешь? — сказал я, похлопывая его по щеке. — Не рано ли собрался? Сколько тебе лет-то?

— Восемнадцать, — ответил разведчик тонким голоском.

— Ну?.. Прибавляешь, небось, чтоб не выгнали?

— Ей-богу, восемнадцать, — повторил разведчик, подняв на меня глаза. В них не было ни озорства, ни детского любопытства мальчика, мечтающего о приключениях войны. Внимательные и серьезные, они знали что-то свое и смотрели на меня смущенно и выжидающе.

— Ну, ладно, пусть восемнадцать, — сказал я, продолжая ласково трепать его по щеке. — Откуда ты появился, как тебя — Ваня, что ли?

— Та це ж дивчина, товарищ письменник! — густым басом сказал гигант. — Татьяна с-под Белявки.

Я отдернул руку, как от огня: одно дело трепать по щеке мальчишку, другое — взрослую девушку. И тогда за моей спиной грянул громкий взрыв хохота.

Моряки смеялись. Казалось, все звуки смеха собрались в эту хату, сотрясая ее, и откуда-то сверху их заглушал мощный басистый гул, рокошущий, как самолет: это под самым потолком низкой избы хохотал гигант, вошедший с девушкой. Он смеялся истово, медленно, гулко, чрезвычайно довольный недоразумением, посматривая вниз на меня, пока не рассмеялся и я.

— Не вы первый! — сказал гигант, отдышав-

пись. — Ее все за парня считают. А что, хлопцы, нехай она будет у нас Татьяна — морской разведчик?

Татьяна была дочерью колхозника из Беляевки, захваченной теперь румынами. Отец ее ушел в партизанский отряд; она бежала в Одессу. Ей поручили вести моряков-разведчиков в родную деревню, и в этом первом трехсуточном походе по тылам врага и зародилась дружба.

Девушка приплась морякам по душе. Смелая, выносливая, осторожная и хитрая, она водила моряков по деревням и хуторам, где знала каждый тын, каждый кустик, прятала их по каменоломням, находила тайные колодцы и, наконец, когда путь, которым они прошли в тыл врага, был отрезан, вывела разведчиков к своим через лиман.

Первое время она ходила в разведку в цветистом платье, платочке и тапочках. Но днем платье демаскировало, а ночи стали холоднее, и моряки одели ее в то странное смешение армейской и флотской формы, в котором щеголяли сами, возрождая видения гражданской войны. Две противоположные силы — необходимость маскировки и страстное желание сохранить флотский вид, — столкнувшись, породили эту необыкновенную форму. Впрочем, тапочки у девушки остались: флотская ростовка обуви не предусматривала такого размера сапог.

В таком же тяжелом положении скоро оказался и Ефим Дырщ — гигант-комендор с «Парижской

Коммуны». Его ботинки сорок восьмого размера, построенные корабельным сапожником, были вконец разбиты, и огромные его ноги были запрятаны в галоши, хитроумно прикрепленные к икрам армейскими обмотками. Накануне моего появления секретарь обкома партии, услышав об этом двойном бедствии, прислал огромные сапоги специального пошива, в которые, как в футляр, были вложены другие, крохотные, и заодно два комплекта армейского обмундирования по росту. Ефим и Татьяна теперь стали похожи, как линейный корабль и его модель, и только очень хотелось уменьшить в пужном масштабе гранаты и пистолеты, подавлявшие ее маленькую фигурку.

Они не были декорацией. Не раз Татьяна, поднявшись на цыпочки, швыряла в румынского пулеметчика гранату, и не одна пуля ее трофейного парабеллума нашла свою цель. Своим южным певучим говорком она рассказала мне, что видела в Беллевке перед побегом, и ясные ее глаза темнели, и голос срывался, и ненависть к врагу, вскипавшая в ней, заставляла забывать, что передо мною девушка, почти ребенок.

Она не любила говорить на эту тему. Чаше, забравшись на сено в буйный круг моряков, она шутила, пела веселые песни и частушки. В первые недели ее бойкий характер ввел кое-кого из разведчиков в заблуждение. Разбитной сигнальщик с «Сообразительного» — бывший киномеханик, районный сердцеед — первым начал атаку. Но в тот

же всер Ефим Дырщ отозвал его в сторону и показал огромный кулак.

— О це бачил? — спросил он негромко. — Що она тебе — закигалка или боец? Кого позоришь? Отряд позоришь... Щоб ты мне к такой дивчине подходил свято. Понятно? Повтори!

Но для других такого воздействия не требовалось. Буйная и веселая ватага моряков, каждую ночь играющая со смертью, несла девушку по войне в сильных своих и грубоватых пальцах бережно и нежно, как цветок, оберегая ее от пуль и осколков, от резких, ссленых шуток, от обид и представаний.

В этом, конечно, был элемент общей влюбленности в нее, если не сказать прямо — любви. Перед призраком смерти, которая, может быть, вот-вот его настигнет, человек ищет сердечного тепла. Холодно душе в постоянной близости к смерти, и она жадно тянется к дружбе, к любви и привязанности. Сколько крепких мужских объятий видел я в серьезный и сдержанный миг ухода в боевой полет, в море или в разведку. Я видел и слезы на глазах отважных воинов, слезы прощания — гордую слабость высокой воинской души. Блеснув на ресницах, они не падают на палубу, па траву аэродрома, песок окопа: подавленные волей, они уходят в глаза и тяжелыми, раскаленными каплями падают в душу воина, сушат ее и ожесточают для смертного боя. Любовь переходит в ненависть к врагу, дружба — в ярость, нежность — в силу.

Страшны военные слезы, и горе тем, кто их вызвал.

Ночью после беседы разведчики ушли в набег, а утром я увидел такие слезы: Татьяна не вернулась.

На линии фронта разведчики наткнулись на пулеметное гнездо, расположенное на вершине крутой скалы. В ночь бил откуда-то сверху пулемет, и подобраться к нему сбоку было невозможно. Моряки полезли на скалу, приказав Татьяне ожидать их внизу.

Видимо, пулеметчик распознал в темноте разведчиков, карабкающихся по скале: пули застучали по камням. Моряки прижались к скале, но пули щелкали все ближе, — румын водил пулеметом по склону. Вдруг справа внизу ярко вспыхнул огонь. Ракета прорезала тьму, направляясь на вершину скалы, за ней вторая, третья. Моряки ахнули: ракетница была у Татьяны. Очевидно, девушка решила помочь друзьям испытанным способом — пуская румыну в морду ракету за ракетой, чтобы ослепить его. Но это годилось только тогда, когда пулемет был близко и когда другие могли успеть подскочить к нему с грапатами. Сейчас Татьяна была обречена.

Словно вихрь поднял моряков на ноги. В рост они кинулись вверх по скале, торопясь придавить румына, пока он не нащупал Татьяну по ярким вспышкам ее ракет. Теперь все пули летели к ней, отыскивая того, кто сам выдавал себя во

тьме. Ярость придала морякам силы, и через минуту румын хрипел со штыком в спине. Люди поползли вниз, поражаясь сами, как могли они в горячке сюда забраться. Обыскали в темноте весь склон, но Татьяны нигде не было.

Бешеный огопь пулемета разбудил весь передний край. Поднялась беспорядочная стрельба, потом забухали орудия. Спрятаться на день здесь было негде — со скалы просматривалась вся местность. Где-то под скалой была каменоломня, но вход в нее могла отыскать только сама Татьяна. Начало светать, надо было уходить.

День прошел мучительно. Ефим Дырц был этой ночью в другой операции. Теперь он сидел, смотря перед собой в одну точку. Огромные руки его с хрустом сжимались, он обводил всех глазами и хрипло говорил:

— Яку дивчину загубили.. Эх, моряки..

Потом он вставал и шел к капитану с очередным проектом вылазки и там сталкивался с другими, пришедшими с тем же. Солнце пошло к закату, когда, выйдя из хаты, я увидел Ефима одного в садике.

Он сидел, уткнув голову в колени, и громадное его тело беззвучно сотрясалось. Может быть, следовало оставить его одного: человеку иногда легче с самим собой. Но скорбь этого гиганта была страшна, и я подсел к нему.

Он поднял лицо. Плакал он некрасиво, по-ребячьи размазывая кулаком слезы и утирая нос.



Он обрадовался мне, как человеку, которому может высказать душу. Успокаиваясь, он говорил о Татьяне, мешая украинскую речь с русской, находя нежные, необыкновенные слова, обнажая свою любовь — целомудренную, скромную, терпеливую. Он вспоминал ее шутки, ее быстрый взгляд, ее голос — и передо мной, как раскрывающийся цветок, вставала Татьяна-девушка, так непохожая на «разведчика Татьяну», — нежная, женственная, обаятельная и робкая. И казалось непонятным, что это именно она приняла на себя ночью пулеметный огонь, помогая морякам добраться до вершины скалы.

Он хотел знать, что она жива и будет жить. Все, что он берег в себе, чтобы не нарушить боевой дружбы, теперь вылилось в страстной исповеди. Он ничего никогда не говорил Татьяне; «щоб не путать дивчине душу, нехай пока воюет», он нес свою любовь до победы, когда «Татьяна» снова будет Таней. Но мечта была в нем горячим ключом, и он видел хату на Днепровщине, Татьяну в ней, и счастье, и лунные ночи в саду, и бешеный пляс на свадьбе...

Его позвал голос капитана. Ефим встал и пошел твердой походкой в хату.

В сумерках он с пятью разведчиками ушел к скале. Мы ждали его без сна.

Утром разведчики вернулись, принеся Татьяну. Оказалось, ее ранило в грудь и она, теряя сознание, доползла до входа в каменоломню и там пролежала весь день. К вечеру она очнулась. У входа

в глубоких сумерках копошились тени и слышался чужой говор. Она начала стрелять. Сколько времени она держала ход в штольню, она не знает. Она била по каждой тени, появлявшейся у входа. Патроны кончались. Она отложила один — для себя. Потом она услышала взрыв у входа и снова потеряла сознание.

Взрыв был первой гранатой Ефима Дырща. Пробираясь к скале, он услышал стрельбу и, обогнав остальных разведчиков, ринулся туда, ломая кусты, как медведь, в смелой и страшной ярости. Сверху по нему стал бить автоматчик. Ефим встал во весь рост, чтобы рассмотреть, что происходит под навесом скалы: там виднелся черный провал, вход в каменоломню, и возле него — три-четыре трупа и десяток живых румын, стрелявших в провал. Он метнул гранату, вторую, третью, размахнулся четвертой — и тут пуля автоматчика раздробила ему левое бедро, впиалась в бок и в руку. Он упал и, медленно сползая к краю обрыва, схватился за траву.

Теперь, когда его принесли на носилках, в мочучих его пальцах белел цветок, зажатый им в попытке удержаться на склоне.

Он поднял на меня мутнеющий взгляд:

— Колы помру, мовчите... Не треба ей говорить, нехай про то не чуєт... Живой буду, сам скажу.

Он закрыл глаза, и разведчики с трудом подняли носилки с тяжелым телом комендора с «Парижской Коммуны».

---

## ПАРИКМАХЕР ЛЕОНАРД

Это был волшебный мастер бритья и перманента, юный одесский Фигаро. Впервые я увидел его на одной из морских береговых батарей, куда он приезжал на трамвае (так в Одессе ездили на фронт).

В кустах возле орудия номер два поставили зеркало и столик, батарейны сгрудились вокруг, нетерпеливо дожидаясь очереди и заранее глядя подбородки. Пошелквивая ножницами, как кастаньетами, он пел, мурлыкал, острил, гибкие его пальцы играли блестящими инструментами, и порой, когда обе руки были заняты пульверизатором, он швырял гребенку на верхнюю губу и зажимал ее носом. Бритва так и летала в его ловких пальцах, угрожая носу или уху быстрыми взмахами. Леонард сдергивал салфетку с видом фокусника:

— Гарантия на две недели, брюнетам на полторы! Кто следующий?

Сев на стул, я невольно залюбовался в зеркале его пальцами. Тонкие и гибкие, они нежно прощупывали пряди волос, безошибочно отбирая то, что нужно снять. Каждый палец его, бледный и изящный, жил, казалось, своей осмысленной, умной жизнью, подхватывая кольцо ножниц, зажимая гребенку или выбивая трель на машинке, в

неустанном движении, в веселом следовании за песенкой, сопровождавшей работу.

Не удержавшись, я сказал:

— С такими пальцами и слухом вам бы на скрипке играть.

Он посмотрел на меня в зеркало и хитро подмигнул.

— Хорошая прическа — тоже небольшая соната. Скажете — нет?

Мы разговорились. Большие черные его глаза стали мечтательными. Он рассказывал о своем профессоре, который называет его «моложавым дарованием», о скрипке, о том, что, когда кончится война, он пойдет в техникум и бросит перманент, из-за которого его зовут Леонардом, хотя он просто Лев. Он говорил о музыке, о любимых своих вещах. Пальцы его, как бы вслушиваясь, перестали балаганить. Они держали теперь гребенку цепко и властно, как гриф скрипки.

Приведя в порядок всех желающих, он достал скрипку, которую неизменно привозил с собой на батарею, и краснофлотцы вновь обступили его. Видимо, это стало на батарее традицией.

Южное осеннее солнце сияло на тугих молодых щеках, выбритых до блеска, просторное море манило к себе сквозь зелень кустов, и огромное тело орудия номер два, вытянув длинный хобот, молчаливо вслушивалось в музыку. Леонард играл, смотря перед собой через орудие и кусты на море, вторя невидимому оркестру и изредка

напоминая о нем звучным, верным голосом. И казалось, он видит себя на большой эстраде, среди волнующегося леса смычков и воинственной меди труб.

Очередной румынский снаряд, рванувшийся за кустами, оборвал концерт. Леонард со вздохом опустил скрипку:

— Опять пьяный литаврист уронил палку. Им нужен строгий дирижер. Скажете — нет?

Вторично я встретился с Леонардом в госпитале. Он лежал, закрытый до подбородка одеялом, и черные, влажные его глаза были грустны. Я узнал его и поздоровался. Он кивнул мне и попытался пошутить. Шутка не вышла. В коридоре я спросил врача, что с ним.

Была тревога. Все из парнкамахерской кинулись в убежище. Оно было под пятью этажами большого дома. Бомба упала на крышу, и дом, сложенный из одесского хрупкого известняка, рухнул. Убежище было завалено.

В нем была темнота и душный, набитый пылью воздух. Никого не убило, но люди кинулись искать выход. Закричали женщины, заплакали дети. И тогда раздался звучный голос Леонарда:

— Тихо, ша! В чем дело? Ну, маленькая тревога «у-бе» — «уже бомбили!..» Больше же ничего не будет!.. Тихо, я говорю! Я у отдушины, не мешайте мне держать связь с внешним миром!

В убежище притихли и успокоились. Леонард заговорил в отдушину, и все слышали, как он по-

дозвал кого-то — видимо, из тех, кто кинулся к развалинам, — назвал адрес дома («Бывший адрес, — сказал он), вызвал помощь и пожарных. Оди у своей отдушины, не уступая никому этого командного пункта, он распоряжался, советовал, как лучше подобраться к нему. Он спрашивал, как идут раскопки, и передавал это в темноту.

Люди лежали спокойно и ждали. Хотелось пить — Леонард сказал, что уже ведут к отдушине шланг. Стало душно — он обещал воздух, ибо со своего моста уже слышал удары лонат. Он передавал в темноту время, узнавая его через отдушину, и всем казалось, что часы текут страшно медленно.

По его информации, прошло около шести часов. На самом деле раскопки заняли больше суток, и помощь пришла совсем не со стороны отдушины, в которую он говорил. Отдушины не было, как не было долгие часы ни пожарных, которые раскидывали камни где-то высоко на груде развалин, ни лонат. Все это выдумал веселый парикмахер Леонард, чтобы остановить панику, успокоить гибнущих людей и вселить в них надежду.

Когда добрались до него, он лежал в глухом углу, и руки его были прижаты тяжелым камнем. Пальцы его были разможжены, и руки пришлось отнять до запястья.

Первую неделю после операции он просил выключать радио, когда начиналась музыка. Потом он стал слушать ее спокойно, только закрывая глаза.

---

## НЕВЕСТА

В те дни, когда в палате дежурила Люба, все мы были в отличном настроении. Ласковая и живая, она влетала в палату утром в мягких своих тапочках — неслышный, но видимый солнечный луч. Мороз еще пылал на ее щеках ярким холодным пламенем, смешливые, почти детские глаза блестели оживленно, и безногий майор с крайней койки неизменно возглашал:

— «Девичьи щеки ярче роз...» Любочка, выходит, дальше надо жить?

— Обязательно! — звонко отвечала она, дую на замерзшие пальцы.

Заложив руки за спину, она прижималась к черной большой печке — белая тоненькая фигурка, деловитая серьезность которой была по-детски уютна и трогательна. Грея руки, она со скоростью тысячи слов в минуту болтала обо всем: об утренней сводке, о происшестввиях с сырыми дровами, о том, что варится к обеду на кухне, о вчерашнем кино. И стоны постепенно утихали, и лица, сведенные судорогой боли, прояснялись, и надоевший, скучный больничный воздух палаты свежел, и легчало горе, и улыбались мысли.

Потом она прикладывала тоненькие пальцы к шее, проверяя, согрелись ли они, прямой носик ее озабоченно морщился, она оглядывала палату быстрым взором хозяйки, соображающей, что к чему, — и рабочий день палатной сестры начинался.

Она умела быстро и ласково делать все — вымыть голову, не уронив ни капли воды на подушку, поправить повязку, написать письмо тем, у кого не работали руки или глаза, вовремя уловить ухудшение и вызвать врача, цепко и страстно бороться за жизнь раненого в час опасности, утешить и успокоить того, кто, казалося, потерял покой, и погрузить его в тихий, облегчающий душу сон.

Мы все любили ее, а может быть — все были влюблены. Но ревности вход в нашу палату была воспрещен. И если в свободную минуту Люба присаживалась к кому-либо из нас поиграть в подкидного дурака, все знали, что именно у него сегодня тяжело на сердце, тяжелее, чем у других.

В этот день я был по праву первым кандидатом на дурака. Ночь я не спал, нервничая по причинам, не относящимся к рассказу, и утром смог солгать ей лишь улыбкой, а не глазами, отвечая на приветствие. Удивительно, как эта юная женщина, почти девушка, чувствовала в чужой душе неладное. Она лишь мельком взглянула на меня, но, закончив обход, безошибочно подошла к моей койке с колодой в руках.



Однако игра не вышла. Ныпче детские ее губы порой опускались в горькой складке, веселые глаза были печальны, и мне вдруг показалось, что ей много-много лет. Карты бесполезно остались лежать, темнея на белом одеяле десяткой пик, символом горя, и мы разговорились негромко и откровенно.

Ее муж, капитан-танкист, воин большой смелости, уже награжденный орденом, пропал без вести. Месяц она не могла отыскать его след. Долгий месяц эта женщина влетала к нам смеющимся солнечным лучом, а между тем душа в ней ныла и сердце сжималось, и по ночам она плакала в общезитни, стараясь не разбудить подруг.

Вчера она отпросилась из госпиталя и нашла давнего друга мужа, большого танкового начальника. Он взял ее руку и сказал:

— Люба, обманывать не буду. Павел остался в окружении. Прорвались все, он не вернулся.

Он не дал ей заплакать и сжал руку.

— Спокойнее, Люба. Он может вернуться. Понимаешь — надо ждать. Конечно, это большое искусство — ждать. Я обещаю тебе сказать, когда ждать будет больше не нужно.

Я смотрел на нее и искал в себе ту силу, которой была наделена эта женщина. Перед этим горем я забыл о своем, но слов — тех слов утешения и надежды, которые с такой великой щедростью она шептала всем нам, — я не мог найти в

корявой, неловкой и себялюбивой мужской своей душе.

Застонал майор на крайней койке, началась его мучительная иллюзия — зачесались пятки ампутированных ног. Люба вскочила и легким видением скользнула к нему. И вновь глаза ее стали прежними, и скорбь — своя скорбь — отступила перед чужой. И никто в палате не заметил, какое горе несут ее тонкие, почти детские плечи.

Вскоре меня на время перевели в другой госпиталь. Через неделю я вернулся в знакомую палату. Многих я уже не застал, появились новые раненые, и рядом с собой я увидел огромную куклу из бинтов.

Это был танкист, которому обожгло грудь и лицо. Все, что на человеческом лице может гореть, у него сгорело: волосы, брови, ресницы, сама кожа. В белой марле жутко и зловеще чернели выпуклые темные стекла огромных очков. Очки не пропускали никакого света, они лишь предохраняли чудом уцелевшие глазные яблоки от прикосновения бинта.

Пониже, хитро и искусно, было оставлено отверстие для рта. Отсюда невидимо исходила человеческая речь — живая страстная речь, единственный проводник мыслей и чувств.

Танкист боролся с медленной своей и долгой болью. Перевязки были мучительны, но он хотел жить. Он очень хотел жить и снова драться в

бою. Эта воля к жизни кипела в его неразборчивой речи, в косноязычии сожженных губ.

Он любил говорить. В темном и одиноком своем мире он жаждал общения с другими. Глухо и странно вылетали слова из недвижимого клубка марли, и, приучившись понимать эти раненые, подбитые слова, я слушал доблесть, ненависть и победу, слушал бой и касание смерти, слушал мечты и надежды, признания и исповедь — все, что может рассказывать другу двадцатидвухлетний человек, бегущий от призрака одиночества. Другу — ибо к ночи мы подружились той внезапной и крепкой дружбой, которая приходит в бою или в больнице.

Под утро я проснулся, когда было еще совсем темно. Тяжело дышала палата, порою стон прорезал это тревожное дыхание сильных мужских тел, поломанных боем. И по тому, что на этот стон не двинулась неслышная белая тень, я понял, что дежурит не Люба. Вероятно, дежурила вторая сестра — Феня, некрасивая и немолодая женщина, которая быстро уставала и ночью часто засыпала на стуле у печки. Я встал, чтобы выйти покурить, и, услышав меня, танкист попросил пить (это звучало у него странно — как «шюнт»). Боясь, что я сделаю ему больно, я хотел разбудить сестру.

— Не надо, — сказал он, — ничего...

Я осторожно налил в отверстие бинтов несколько глотков из леечки и, конечно, облил марлю. Смутившись, я извинился.

— Ничего, — повторил он и засмеялся, обозначая смех тихими перерывами дыхания. — Это только она умеет... Будто сам пьешь, губами...

— Кто она?

— Невеста.

И я услышал необыкновенную повесть любви.

Он говорил о женщине, которой не видел и видеть не мог. Он называл ее старым русским ласкательным словом «моя душенька». Так назвал он ее в первый же день, учуяв в ней особенную ласковость и душевность, и так продолжал звать, потому что сожженные его губы не позволяли ему выговорить ее имя. «Ну, конечно, Люба», — подумал я. Это имя и в самом деле могло у него звучать нелепо: Люа, Люша...

Он говорил о ней с глубокой нежностью, гордостью и — странно сказать — страстью. Мечтая вслух, он угадывал ее лицо, глаза, улыбку, и я поразился этому провидению любви. Понизив голос, он признался, что знает ее волосы, пушистые легкие волосы, выбившиеся из-под косынки: однажды он тронул эту прядь, пытаясь слепыми пальцами помочь ей найти упавший за столик футляр термометра. Он говорил о ее руках — тяжелых, сильных, бережных руках, которые он часами держал в своих, рассказывая ей с себе, о своем детстве, о боях, о взрыве тапка, о своем одиночестве и о страшной жизни уроды, какая его ждет.

Он пересказал мне все ее утешения, все нежные слова надежды, всю веру в то, что он будет

видеть, жить и снова драться в бою, и мне показалось, что я слышу голос самой Любы. Совсем шепотом он сказал мне, что завтра — решающий день: профессор обещал ему снять очки, и, возможно, он начнет видеть. Он не говорил об этом «душеньке», — а вдруг он видеть не будет? Пусть она не мучается. Не выйдет — не выйдет, он и так знает ее лицо. Оно прекрасно, нежно, он видит ее глаза и в них — любовь. И еще: она уговорила его на сложную операцию, которая вернет ему брови, ресницы, свежую розовую кожу. Он знает, какой болью он купит себе это новое лицо, но он пойдет на все ради своей невесты.

Да, невесты. Он повторил это слово с гордостью. Муж ее погиб на фронте, совсем недавно, она одинока, как и он, и несчастна более, чем он: он потерял только лицо, а она — любимого человека. За долгие эти ночи они все узнали друг о друге, и любовь пришла в эту палату, где витала смерть, в жизнь, приведенная любовью, помогла ему переломить себя. Ведь он хотел застрелиться, — ну, куда жить такому?. Теперь другое — он живет мечтой о будущем, он борется за жизнь, за здоровье, за силу, за счастье, за возможность отомстить врагу за себя и других.

— Она сказала — мне все равно, что будет с твоим лицом. Я тебя люблю, а не лицо, понимаешь...

И он заплакал. Я понял это по тому, что грудь

его, наполненная счастьем, сотрясалась и дыхание стало прерывистым.

Не мешая ему, я тихо прилег на свою койку, думая о Любе. Странная ее судьба поразила меня. Была ли это и впрямь любовь — необъяснимая любовь высокой женской души — или нежная жалость, которая порой так похожа на любовь? Или, может быть, — разделенное горе, ужас потери, найденный призрак утраченного: танкист, герой, воин... Я дожидался утра, смены сестер, чтобы в одном взгляде Любы прочесть разгадку, — в таких глазах все читалось легко. В этих мыслях я задремал.

Пробудился я поздно. По знакомым признакам палатного дня я понял, что сестры уже сменились, но Любы в палате не было. Я подошел к танкисту и спросил, как он себя чувствует.

— Чудесно, — ответил он. — Она пошла узнать о перевязке. Слушай, только ни слова ей о профессоре. Неужели сегодня я буду видеть?

По голосу я понял, что он улыбается.

— Она ведь красавица, ты же ее знаешь?

— Красавица, верно, — ответил я.

Он снова заговорил о том, как сегодня ее увидит. Вдруг он замолчал и притих, слушая шаги — легкие шаги в тапочках, и было странно, что сквозь бинты, укутавшие голову, он различил их. Или это был слух любви?

— Она, — сказал он с глубокой нежностью. — Душенька моя...

Я обернулся. Но это подошла Феня, очевидно за-

державшаяся после дежурства. Я хотел показать ему, что он ошибся.

— Здравствуйте, Фенюшка, — сказал я. — Скоро там Люба справится?

— Здравствуйте, спячь к нам? — спросила она. — Уехала Люба, мужа отыскала. Раненый..

И она подсела к танкисту.

— Родненький мой, Коленка, — сказала она ласково. — Набирайся сил.. перевязка сейчас..

Он судорожно протянул руку, и тотчас эта рука воина, видевшего смерть и вздрогнувшего от предчувствия боли, попала в руки Фени: видно, перевязки были нестерпимы. Она покрыла ее другой рукой, и большое, значительное молчание встало над ними. Она тихонько гладила его руку, перебирала пальцы, и в глазах ее, устремленных на черные очки, теплым медленным течением плыла любовь.

Я смотрел на лицо Фени — незапоминающееся лицо, которое мы видели ежедневно и скользили по нему равнодушным взглядом. Удивительная перемена в нем поразила меня. Немолодое, усталое — одухотворенное силой любви оно было прекрасно, простое лицо русской женщины и матери, исполненное веры и грустной нежности. Потом в глазах ее появились слезы, она тихонько отвела голову, чтобы они не капнули на его руку. Но, почуввав это легкое движение, он встревожился.

— Душенька моя дорогая, что ты?

И — поразительная вещь — Феня заговорила оживленно и весело, ласково ободряя его, а слезы лн-

лись по ее лицу безостановочно и быстро, и глубокая скорбь искажила ее рот, из которого вылетали шуточные, веселые слова. Потом глаза ее перешли на дверь, и безнадежная молчаливая мука отразилась в них. Я проследил ее взгляд: в дверь вкатывали коляску, и я понял ее слезы. Это было предчувствие приближающейся боли.

Танкиста положили в коляску, и Феня пошла рядом, держа его руку. Я провожал их. У дверей перевязочной она осталась. Силы ей изменили, она прислонилась к косяку и дала волю слезам. Я тронул ее плечо. Она подняла на меня глаза.

— Иван Савельич нынче сказал.. Иван Савельич сказал..

Она не могла говорить.

— Я знаю, — ответил я. — Ну что ж раньше времени волноваться.. Конечно, он будет видеть.

Она замотала головой, как от боли.

— Вот и увидит меня.. Куда я ему такая.. Что он обо мне выдумал, зачем выдумал?.. Красавица, красавица.. Пустите меня! — вдруг почти крикнула она и прильнула ухом к двери перевязочной.

Там я услышал веселый голос Ивана Савельевича:

— Хватит, хватит на первый раз, еще недельку в темноте проведете!

Феня побледнела страшной бледностью отчаяния и быстро пошла по коридору.

Больше ее в госпитале никто не видел. Потом узнали, что она уехала на родину.

---



## ГОЛУБОЙ ШАРФ

Кто был этот летчик и где я его встретил — в Одессе, в Ленинграде или в Севастополе — зачем вам знать про то? Не об отваге его, а о том, как она родилась, пойдет речь, а тайны человеческого сердца надо уважать.

Истребители пошли на посадку. Над кабиной одного из них длинным вымпелом развеялся голубой шарф. И мне вспомнились читанные в юности рыцарские романы: латы и шелк на них. Так мчался в бой закованный в броню витязь, и тонкий легкий шарф, повязанный на руке, вскинувшей меч, нес навстречу смерти или победе заветные цвета дамы сердца. Я усмехнулся этому романтическому видению. Шарф был как шарф, все летчики прикрывают шею скользким шелком, чтобы не натереть ее до крови о воротник кителя или реглана. Очевидно, этому летчику пришлось порядком повертеть в бою головой.

Так оно и оказалось. Возвращаясь со штурмовки, звено было атаковано «Мессершмиттами». Они были со всех сторон — и шарф на шее майора, командира эскадрильи, размотался. Майору удалось одного подбить, но в результате он уверен не

был — пришлось кинуться на выручку к Азарианцу. Гоняясь за вторым, майор обнаружил новый вражеский аэродром и теперь предложил командиру полка тотчас же в рассветной мгле разгромить на нем немцев.

Самолеты поставили в надежные укрытия (фронт был совсем рядом), и мы пошли к блиндажу. Смеясь, я сказал майору о витязе и прекрасной даме. Он поднял на меня глаза, еще воспаленные ветром высот и боем, и улыбнулся. Теперь, без шлема, лицо его, окруженное голубой пеной шарфа, показалось мне старше. Майору было, вероятно, за сорок.

За ужином говорили о последнем бое, и летчики подтвердили, что «мессер», подбитый майором, честно закопался в землю. Потом вспомнили размотавшийся шарф, и посыпались шутки.

— Он тебя когда-нибудь из кабины вытянет, как парашют, — сказал полковник. — И куда тебе целый отрез?

— Удобно, — ответил майор. — В нем голова, как в подшипнике, вращается.

— А Миронов у тебя с каким-то чулком летает. Разорви ты свой шарф пополам!

— Клятву не порвешь, товарищ полковник, — сказал майор полушутя-полусерьезно. — Я уже как-нибудь булавками подкалывать буду.

— Это ж амулет, товарищ полковник, — рассмеялся Миронов. — Майор с ним и спит, и воюет, и в баню ходит, надо ж понимать: старый летчик...

Вылет был назначен на пять утра, и летчики стали укладываться спать. Я лег рядом с майором Устраинаясь, оп и в самом деле бережно свернул шарф и подложил его под щеку.

На столе горела лампа, и порой пламя ее высоко вскидывалось из стекла, а за фанерной обшивкой землянки шурша осыпался песок: по аэродрому били из тяжелых орудий. Летчики, привыкнув к этой колыбельной, мирно спали, и кто-то могуче храпел, заглушая порой разрывы снарядов.

Шарф щекотал мне лицо. Казалось, от него исходил нежный, чуть уловимый аромат — и воображение мое заработало. От шарфа тянуло юностью, тонкими девическими плечами, и показалось несомненным, что амулет этот дан летчику девушкой, полюбившей мужество и отвагу, врезанные в спокойных чертах его лица, как в мраморе. Я увидел последнюю встречу, ее дрожащие губы и полный слез взгляд, услышал слова надежды и клятв — и всем сердцем понял, что мужчина и воин может на повороте своих лет в обаянии зыбкой девической любви бережно хранить такой талисман и верить в его волшебную силу.

Я приподнялся на локте. Майор дремал. Спокойное, усталое его лицо никак не лезло в придуманный мной сюжет. Это было нехитрое лицо воина, честного труженика авиаппи, вернувшегося из запаса в строй, и вряд ли оно могло внушить самой романтической девушке такое чувство. Вернее было другое. Я вспомнил, как за ужином он мельком

сказал, что при переводе в этот полк ему удалось заехать домой, где он никого не застал: город был под угрозой, и все уехали.

Я представил себе, как он вошел в брошенную квартиру, где все знакомо, все напоминает о близких сердцу людях и где все — стыло и пусто, все кинуто в горьком беспорядке торопливых сборов, и где призраками стоят лишь воспоминания — о мирной жизни, о надеждах, о родной ласке и тепле, которых не найдешь или найдешь нескоро... Я увидел, как стоит он посредине комнаты, оглядывая ее, как сжимаются его губы, как, быть может, слезы ярости и тоски набегают на глаза и как молча он берет в руки первую попавшуюся вещь: голубой шарф, воздушно-легкий призрак былого.

Может быть, у меня родилось бы еще несколько вариантов, но майор пошевелился и открыл глаза.

— Вот ведь, чорт, храпит, — сказал он, увидев, что я не сплю. — Хуже стрельбы, ей-богу.. Силён..

Храпел Азарянц, утомленный боем. Порой, рывнувшись с особой силой, он замолкал, как бы с удивлением прислушиваясь к самому себе. Но рвался рядом снаряд, Азарянц во сне отвечал ему рычаньем потревоженного огромного зверя, — и вся музыка начиналась сначала.

— Нет, не заснуть, — со вздохом сказал майор. — Покурим, что ли?

Мы закурили, и скоро потекла та негромкая беседа — голова к голове, — когда ни залпы, ни раз-

рывы, ни храп соседа не мешают разобрать взволнованных слов.

В боях и в вечной к ним готовности военным людям некогда разговаривать друг с другом о своих чувствах. И чувства их, как жемчуг, оседают в душе сгустком плотным и драгоценным. Но сердце живет и тоскует и жаждет открыть невысказанные никому свои тайны. И вот в тихой беседе с гостем, случайным человеком, готовым слушать всю ночь, в такой ли землянке под грохот снарядов, в окопе ли в ночь перед наступлением, в каюте ли идущего в бой корабля, — военные сердца раскрываются доверчиво и желанно. И такое увидишь порой в прекрасной и простой их глубине, что и сам воин и подвиги его освещаются новым светом. И завеса над тайной рождения отваги приподымается, и в меру познания своего ты понимаешь, что такое ненависть к врагу.

Мои романтические догадки оказались беднее, чем правда жизни и войны. Все было проще, страшнее и значительнее.

В начале войны майор дрался на Балтике. Придя из запаса, он был сразу назначен на охрану небольшого эстонского города. Город этот жил еще старыми представлениями о немцах, и никто в нем не верил всерьез, что они бомбят мирные города. Поэтому на чудесном его пляже с утра до вечера копошились голые тела, и сверху казалось, что море выплеснуло на песок розовато-желтую пену. Майор, барражируя над городом, охранял его от

дых и его детей, ища в небе врага. Небо было синим и глубоким, море — теплым и ласковым, песок — горячим и золотым.

Это случилось в воскресенье 29 июня. Он увидел Юнкера слева над морем и ринулся к нему. Майору не повезло: фашистский стрелок пробил ему бак, и пришлось идти вниз. Юнкер ускользнул, и майор увидел, как в городе встали черные грибы разрывов. Маленькие аккуратные домики задымились.

Юнкер повернул к морю, спикировал на пляж — и розово-желтая пена человеческих тел хлынула в море. Из всех своих пулеметов он бил по голым детям, женщинам и подросткам. Они спасались в море, как будто вода могла прикрыть их от пуль. Они ныряли в нее, стараясь стать невидимыми. Но Юнкер сделал второй заход — и человеческая волна выплеснулась из моря и хлынула под защиту цветистых зонтов, палаток, навесов, оседая на песке крупными недвижными каплями.

Не помня себя от бешенства, майор бесполезно стрелял по черной удаляющейся точке. Мотор его наконец стал. Он опомнился.

Сесть теперь можно было только на пляж. Майор повел туда подбитую машину, но весь пляж был в трупах детей и женщин. Недвижные, страшные в предельной незащитности обнаженного человеческого тела они лежали на песке. Наконец он нашел на краю пляжа место, свободное от них.

Он выскочил из кабины, шатаясь. Кровавый ту-

ман плыл в его глазах. Ничего не видя, ничего не понимая, он шел, как потерянный, не зная куда, пока не споткнулся. Взглянув под ноги, он отпрянул.

Перед ним лежала обнаженная девушка, склонив на плечо голову. Солнце золотило ее нежную кожу и легкой тенью отмечало неразвившуюся грудь. Ниже груди кровавый тонкий пояс опускаясь к левому бедру—след быстрых, острых пуль, пронизавших наскось живот. В откинутой руке был зажат легкий голубой шарф—единственная ее броня и защита, которой она пыталась прикрыться от пуль на бегу.

Он поднял этот шарф, осторожно разжав еще теплые тонкие пальцы. И так, держа этот шарф и смотря на пляж, усеянный детскими, девичьими и женскими телами, он дал себе молчаливую клятву.

Он не сказал мне ее. Но каждый, в ком бьется человеческое сердце, найдет ей слова, запоминающиеся на всю жизнь.

— Я сплю с ним, чтобы и во сне не забыть о ненависти, — сказал майор, приподымаясь.

Он развернул шарф. Пышная его бахрома была как бы обгрызана. Я взгляделся. Это были узлы: кисти бахромы были сплетены в змейки или связаны морскими кнопками—аккуратными плотными шариками. Кнопов было шесть, змеек—восемь. Продолжая говорить, майор начал плести новую змейку.

— Сегодняшний «мессер», — сказал он без улыбки, — а кнопки — это бомбардировщики. Только вы нашим не рассказывайте, насмех подымут, вот, скажут, нашел майор игрушки...

Он помолчал, деловито сплетая шелковые нити, потом поднял голову. Лицо его меня поразило.

— Какие тут игрушки, — сказал он глухо. — Пока я все эти кисточки не заплету, все у меня перед глазами тот пляж будет... Не проплять я тогда с тем Юнкерсом... Ну, ладно, что в Москве нового?..

В пять ноль-ноль полк в полном составе вылетел на штурмовку найденного майором аэродрома. Самолеты один за другим поднялись в темноту, и было удивительно, как сумели они там выстроиться за ведущим ястребком, где был майор.

Часа через полтора самолеты так же один за другим садились на поле. Летчики, разгоряченные стремительным налетом, собирались в кучки, обмениваясь рассказами. Все сошло как нельзя лучше: майор с изумительной точностью вывел весь полк брющим полетом из-за леса прямо на аэродром. Немцы не успели дать и залпа. В рассветной мгле все запылало, стало рваться, рушиться, гибнуть. Подняться не сумел ни один самолет. Вторым и третьим заходами только добивали уцелевшие машины. Всего насчитали девять бомбардировщиков и восемь истребителей.

Майора еще не было. Наконец показался и его самолет. Он шел опять с длинным вымпелом над кабиной и, видимо, без горючего. Майор кое-как



дотянул до поля и сел. Мы подбежали к нему. Голубой шарф свисал за борт кабины, и на нем атели пятна крови.

— Товарищ полковник, — сказал майор, не шевелясь. — Кажется, меня надо вынимать. Пустяки, в плечо... и в ногу что-то.

Пока бежали с носилками, он доложил полковнику, что после первого захода увидел на западе пять «мессеров» и пошел к ним навстречу (поскольку над аэродромом «все шло нормально») и все время отгонял их атаками, чтобы не дать помешать разгрому.

Тут его положили на носилки, и я заметил его встревоженный взгляд. Я поднял с земли шарф и положил к нему на носилки. Мы поцеловались.

— Теперь на всю поправку работы хватит, майор, — сказал я ему негромко: — еще девять кнопов и восемь змеек.

Он улыбнулся мне, как ребенку, не знающему правил игры.

— Нет, то не мои... Это ребята били. Я одну змейку сплету: одного-то из тех пяти я все ж таки стукнул.

Носилки качнулись — и он вышел на время из боя, витязь-мститель, покрытый голубым шарфом, залитым его кровью, чистой и горячей, как и его ненависть.

---

## ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА

Мытье посуды, как известно,—дело грязное и надоедливое. Но в тесном командирском буфете миноносца, о котором идет речь, для этой цели существовал некий сложный агрегат.

Агрегат этот занимал собой весь правый угол буфета, где сверкал медью паровой самовар — маленький, но злой, вечно фыркающий и обжигающий. Цинковый его поддон был загроможден проволочными стеллажами для тарелок, гнездами для стаканов, особой подвесной сеткой для ножей и вилок. Сложная система медных трубок соединялась резиновым шлангом с краном самовара. Струи кипятка сильно и равномерно били на стеллажи и смывали с посуды застывший жир, липкие следы компота и консервированного молока (которое почему-то любил комиссар миноносца). Сам же хозяин буфета, командирский вестовой Андрей Кротких, презрительно представив воде грязную работу, уходил в крошечную каюту, гордо именовавшуюся «командирским салоном». И пока, в знак окончания обеда командира и комиссара, он менял там белую скатерть на цветную, автомат исправно делал свое дело. Вернувшись, Кротких намыливал

узкую щетку и с тем же презрительным выражением лица протирал ею в стеллажах тарелки, потом, смыв шлангом мыльную пену, закрывал воду и пар. В жарком воздухе тесного буфета посуда обсыхала сама собой, и через час сухие диски тарелок сверкали уже в гнездах, оберегающих их от последствий качки. И только воинственная сталь ножей и вилок требовала полотенца: во избежание ржавчины.

Вся эта сложная автоматика была рождена горечью, жившей в сердце Андрея Кротких, краснофлотца и комсомольца. Грязную посуду он ненавидел как некий символ незадавшейся жизни. В самом деле, его товарищи по призыву готовились стоять у клапанов в машине, стрелять из орудий, вертеть штурвалы. Ему же выпала на долю странная боевая часть: посуда. Причиной тому было то, что Кротких, выросший в далеком колхозе на Алтае, по своим личным соображениям простился с учебниками еще в четвертом классе и поэтому при отборе во флотские школы специалистов остался не у дел.

Правда, по боевой тревоге Андрей Кротких был подносчиком снарядов зенитного автомата номер два. Но вся его боевая работа была ничтожна: он вынимал из ящика острожальные снаряды (которые больше походили на патроны гигантской винтовки) и укладывал их на подстеленный возле орудия мат. В дугу обоймы, торчащую из автомата, их

вставлял уже другой краснофлотец — заряжающий Пинохин, и оставалось только с завистью смотреть на него и запоздало проклинать опрометчивый поступок юности. В первом же бою с пикировщиками Кротких с горечью понял, что на таком боевом посту Героем Советского Союза, пожалуй, не станешь и что комсомольской организации колхоза «Заря Алтая» гордиться им после войны, видимо, не придется.

Орудие номер два и подсказало ему буфетную автоматику. Перебивая однажды посуду, Кротких неожиданно для себя подумал, что тарелки тоже ведь можно расставить на ребра, вроде как в обойме. Тогда не придется подносить их по очереди под струю воды, обжигая при этом руки, а наоборот — можно будет обдавать крутым кипятком сразу все. Он перепортил массу проволоки, пока не добился того, что смутно мерещилось ему в мыслях и что, как с огорчением узнал он после, было давным-давно выдуманно и применялось в больших столовых и ресторанах. Это сообщил ему военком миноносца, батальонный комиссар Фялатьев в первый же вечер, когда, заглянув в буфет в поисках чаю, он увидел «автоматику», построенную Кротких.

Однако огорчение это неожиданно обернулось удачно: военком разговорился с ним, и Кротких вылил ему всю свою душу, смешав в кучу и посуду, и «Зарю Алтая», и мечты о Герое Советского Союза, и неведомую комиссару Олю Чебыки-

ну, которой никак не напишешь письма о войне, где он моет посуду, тем более что и слова-то вылазят на бумагу туго и даже самому невозможно потом прочесть свои же каракули...

Военком слушал его, чуть улыбаясь, вематриваясь в блестящие, смекалнстые глаза и любоньтно разглядывая его лицо — широкое и скуластое лицо сибиряка с чистой и ровной кожей. Улыбался он потому, что вспоминал, как когда-то, придя комсомольцем на флот, он так же страдал душой, попав вместо грезившегося боевого места на скучную и грязную очистку трюма восстанавливаемого линкора, как мучился он над первым своим письмом к друзьям и как беспощадно врал в нем, описывая дальние походы, штормы и собственные ленточки, развевающиеся на мостике (не иначе, как рядом с командиром). Молодость, далекая и невозвратная, дохнула на него из этих блестящих глаз, и он всей душой понял, что Оле Чебыкиной о посуде, и точно, не напишешь: она, конечно, была такая же насмешливая, верткая и опасная на язык, какой была когда-то Валя с текстильной фабрики родного городка.

И он с таким живым интересом стал расспрашивать Кротких о «Заре Алтая», об Оле, о том, как же так вышло у него со школой, что тому показалось, будто перед ним не пожилой человек, пришедший на корабль из запаса, и не комиссар миноносца, а погодок-комсомолец, которому обязательно нужно выложить все, что волнует душу. И

глаза комиссара, внимательные и дружеские, подгоняли и подгоняли слова, и если бы в салоне не появился политрук Козлов, разговор долго бы не закончился. Военком отставил стакан и стал опять таким, каким его привык видеть Кротких: сдержанным и немного суховатым.

— Кстати пришли, товарищ политрук, — сказал он обычным своим тоном, негромко и отдельно. — Значит, так вы порешили: раз война — люди сами расти будут. Ни учить не надо, ни воспитывать... Война, как говорится, рождает героев. Самосильно. Так, что ли?

— Непонятно, товарищ батальонный комиссар, — ответил Козлов, угадывая неприятность.

— Чего ж тут непонятного?.. Спасибо, товарищ Кротких, можете быть свободны...

Кротких быстро прибрал стакан и банку с молоком (чтобы комиссару не пришлось в голову угощать им Козлова), но, выйдя, задержался с той стороны двери: речь, видимо, шла о нем. Комиссар поинтересовался, известно ли политруку, что у краснофлотца Андрея Кротких слабовато с общим образованием и что ходу ему дальше нет? Он спросил еще, неужели на минопосе нет комсомольцев-вузовцев, — и сам назвал химиста Сухова, студента педагогического института. Козлов ответил, что Сухов — активист и что он так перегружен и боевым листком, и комсомольским бюро, и докладами, что времени у него нет. Комиссар рассердился. Это Кротких понял по внезапно насту-

пившему молчанию: когда комиссар сердился, он обычно замолкал и медленно скручивал папиросу, поглядывая на собеседника и тотчас отворачиваясь — как бы выжидая, когда уляжется гнев. Молчание затянулось. Потом зажигалка щелкнула, и комиссар негромко сказал:

— Это у вас нет времени подумать, товарищ политрук. Почему все на Сухова навалили? Людей у вас, что ли, нет?.. Не видите вы их, как и этого паренька не увидали. Наладьте ему занятия, да зайдите в буфет: поглядите, что у него в голове..

С этого вечера перед Андреем Кротких раскрылись перспективы. Война шла своим чередом: были бои, штормы, походы, ночные стрельбы и дневные атаки пикировщиков, зенитный автомат жадно втягивал снаряды в ненасытную свою дугу, Кротких подтаскивал их на мат и мыл посуду, — но все это приобрело будущее: перед ним стояла весна, когда он пойдет в Школу оружия. Он наловчился не терять и минуты времени. Регулируя свой буфетный автомат, он держал в другой руке грамматику. Драя медяшку в салоне, твердил таблицу умножения. Дежурия у снарядов по готовности номер два, решал в блокноте задачи. Блокнот был дан комиссаром. Все было дано комиссаром — блокнот, учеба и будущее.

И в девятнадцатилетнее сердце краснофлотца Кротких плотно и верно вошла любовь к этому пожилому спокойному человеку.

Он радовался, когда видел комиссара веселым,

когда тот шутит на палубе или в салоне за обедом. Он мрачнел, видя, что комиссар устал и озабочен. Он ненавидел тех, кто доводил комиссара до молчания и медленной возни с папиросой. Тогда бешенство подымалось в нем горячей волной, и однажды оно вылилось поступком, от которого комиссар замолчал и закурил папиросу.

Была тревожная походная ночь. Черное море сняло под холодной луной, и хотя ветер был слабый и миноносец не качало, на палубе была жестокая стужа. Корабль шел недалеко от врага, и каждую секунду пустое обширное псебо могло обрушить на него бомбы: на лунной дороге миноносец был отчетливо виден. Весь зенитный расчет проводил ночь у орудий.

Комиссар сошел с мостика и обходил палубу. Видимо, он и сам промера порядочно: подойдя на корму к автомату номер два, он вдруг раскинул руки и начал делать гимнастику.

— И вам советую, — сказал он краснофлотцам. — Кровь разгоняет.

Кротких подошел к нему и попросился вниз: он согреет чаю и принесет командиру и комиссару на мостик. Филатов улыбнулся.

— Спасибо, Андрюша, — сказал он, называя его так, как звал в долгих неформальных разговорах. — Спасибо, дорогой. Не до чая.. И потом — всех не согреешь, они тоже промерзли..

Он повернулся к орудью и стал шутить, привычно проверяя взглядом, на месте ли весь рас-



чет. В велосипедных седлах, откинувшись навзничь и всматриваясь в смутное сияние лунного неба, лежали наводчики. Установщики прицелов сидели на корточках спиной к ветру, готовые вскочить и завертеть свои штурвальчики; командир орудия, старшина первой статьи Гушев стоял в телефонном шлеме, весь опутанный шлангами, как водолаз. Орудие было готово к мгновенной стрельбе.

Но комиссар вдруг перестал шутить и нахмурился:

— А где заряжающий? Товарищ старшина, в чем дело?

Гушев доложил, что Пинохин отпущен им оправиться, и вполголоса приказал Кротких найти Пинохина в гальюне и сказать ему, чтоб не распеживался.

В гальюне Пинохина не оказалось. Кротких нашел его там, где подозревал: в кубрике. Пристроившись на рундуке у самого колокола громкого боя, Пинохин спал, очевидно, решив, что в случае тревоги успеет выскочить в орудие.

Кротких смотрел на него, и ярость вскипала в его сердце. Он вспомнил, как грелся физкультурой комиссар, как отказался он от стакана чаю, как стоит он сейчас там, на холоду, молчит и ждет, — и вдруг, стиснув зубы, размахнулся и ударил Пинохина.

Разбор всего этого происходил в салоне после выполнения миноносцем задания. Комиссар молчал и крутил папиросу. Крутил из-за него, из-за Крот-

ких, — и это было невыносимо. Жизнь казалась конченой: теперь никогда не скажет ему комиссар ласково «Андрюша», никогда не спросит, сколько будет девятью девять, никогда не улыбнется и не назовет «студентом боевого факультета»... Слезы подступали к глазам, и, видимо, комиссар понял, что они готовы брызнуть из-под опущенных век. Он отложил папиросу и заговорил.

Слова его были медленны и казались жестокими. Филатов как-то удивительно все повернул. Он начал с того, что, будь на его месте другой комиссар, Кротких не так близко к сердцу принял бы поведение Пинохина. Он сказал, что давно видит, как преданно и верно относится к нему Кротких, но что все это не очень правильно. Оказалось, он заметил однажды ночью, как Кротких вошел к нему на цыпочках, прикрыл иллюминатор, поправил одеяло и долго смотрел, улыбаясь, как он спит (тут Кротких покраснел, ибо так было не однажды) — и назвал все это мальчишеством, никак не подходящим для краснофлотца. Если бы Кротких ударил Пинохина потому, что тот оставил свой боевой пост, навредил этим всему кораблю и, по существу, изменил родине, то это комиссар мог бы еще как-то понять. Но ведь Кротких полез в драку совсем по другим причинам, и причины эти высказал сам, крича, что у него, мол, за комиссара сердце горит, такой, мол, человек на палубе мерзнет, а эта гадюка в тепле припужает...

Филатов говорил резко, и Кротких мучился. Ко-

миссар, наверное, заметил это, потому что закурил наконец папиросу, и, Кротких, изучивший его привычки, понял, что он больше не сердится. Но Филатов выдохнул дым и неожиданно закончил:

— Взыскание — само собой. По комсомолу, надо полагать, тоже вздроят.. А мне придется вас перевести.

У Кротких поплыло в глазах.

— Товарищ батальонный комиссар, мне на другом корабле не жить, — сказал он глухо, и голос комиссара вдруг потеплел:

— Да я не собираюсь вас с миноносца списывать. Где вы такого Сухова найдете, этак вся учеба у вас пропадет.. Перейдете вестовым в кают-компанию. Автоматику свою в тот буфет заберете, пригодится.. Так, что ли?

И хотя Кротких внутренне считал, что совсем не так, что комиссар не понял его любви и преданности и что вся жизнь теперь потускнела и уходить в кают-компанию просто тяжело, — он все-таки вытянулся и ответил:

— Точно, товарищ батальонный комиссар.

Это было настоящим горем. Кроме того, Кротких не предполагал, что на свете, кроме любви существует еще и ревность. Он впервые познал это горькое и обидное чувство.

Другой заботится теперь о комиссаре, другой, а не он, слышит его шутки за обедом, с другим, а не с ним, ведет комиссар душевный вечерний разговор, прихлебывая чай с консервированным моло-

ком. И уж, конечно, новый вестовой не догадается припрятывать молоко от гостей, не сумеет накормить комиссара в шторм...

Кротких повзрослел. Он стал сдержаннее, серьезнее и, невольно подражая Филатову, выдерживал паузу, если гнев или обида требовали немедленного поступка. Крутить папиросу ему не приходилось — не везде закуришь. Поэтому он приучил себя в этих случаях шевелить по очереди всеми пальцами (что удобно было делать даже держа руки по швам).

Филатова он видел теперь много реже, чем раньше: на официальных собраниях, иногда — в кают-компании или в кубрике, когда комиссар приходил туда для беседы. На палубе он старался пристать к кучке людей, обступивших комиссара, но Филатов говорил с ним, как со всеми, и в глазах его ни разу не мелькнуло то ласковое тепло и живое любопытство, к которым так привык Кротких и которых ему так теперь не доставало. И постепенно Филатов, родной и близкий человек, заменялся в его представлении Филатовым — комиссаром корабля. Но странное дело: именно теперь Филатов окончательно вошел в его сердце.

Это была не та мальчишеская, смешная и трогательная, но глуповатая любовь, которой он горел прежде. Теперь это была новая, глубокая — военная любовь.

Черное море показало свой грозный нрав, миноносец нырнул в волне, как подводная лодка, и вся

палуба была в ледяной воде и в мокром льду, а в кубриках днем и ночью ждали горячее кофе, глоток вина и сухие валенки, и вахту наверху сменяли через час, — и Кротких понимал, что кто подкасал комиссаром. На маленькой базе, куда зашли ремонтироваться после шторма, к трапу подехала подвода, где лежали восемь барашков, зелень, две гитары, мандарины и капуста, и люди в косматых шапках ломаным русским языком спросили, как передать этот маленький подарок храбрым морякам, о которых рассказывал вчера в колхозе комиссар. В каждом большом и малом событии корабельной жизни, в разговорах с другими, в бою и в шторме, в работе машин и орудий — везде чувствовал Кротких комиссара, его мысль, его волю, его заботу.

В один из тех смутных дней странной южной зимы, когда солнце греет, а ветер холоден, все на миноносце с утра ходили молчаливыми и хмурыми: дошло известие, что немцы взяли Ростов на Дону. Мысли, тяжелые и тревожные, уходили на Кавказ, к нефти, к прерванной линии железной дороги. Люди не разговаривали друг с другом, дело валилось из рук. Но потом головы стали подыматься, глаза блестеть надеждой и ненавистью, руки — работать яростно и быстро: теперь все говорили о Москве, об ударе наших войск, подготовленном Сталиным, о том, что удар этот вот-вот обрушится на врага, и Ростов встал на свое место в гигантской и сложной схеме войны. И Кротких

с гордостью подумал, что напомнил об этом комиссар.

Он стал понимать, почему с таким уважением и любовью говорят о комиссаре остальные краснофлотцы, мало знающие его в частной, каютной жизни. Он стал понимать, почему каждый из них готов рискнуть головой, чтобы спасти в бою комиссара, — не просто Филатова, хорошего, честного и отзывчивого человека, а военного комиссара, партийную душу и совесть корабля.

Попрежнему стоял Кротких у своего ящика со снарядами, выкладывая их на мат — не дальше. Но мальчишеская зависть к заряжающему (теперь уже не Пинохину, который пошел под суд, а Трофимову) больше не терзала его, как не мучило и сознание, что подвига тут не совершишь. Новое понятие — корабль — значительно и серьезно вошло в него. Он полюбил корабль — его силу и его людей, его сталь и его командиров, его ход и его название. И даже посуда, которую он так ненавидел и презирал недавно, теперь совсем перестала беспокоить его воображение.

Это новое ощущение корабля как живого, сильного и ласкового друга настолько захватило его, что однажды вечером он сел писать свое первое письмо Оле Чебыкиной.

Но из письма ничего не получилось. Буквы были теперь четкими на заглядение, но передать это удивительное ощущение корабля и любви к нему он никак не смог. Он написал целую страницу за-

тертых, невыразительных слов — и в ярости разорвал письмо, даже забыв перед этим пошевелить пальцами. Два дня он ходил мрачный, мучаясь, как бы написать о корабле так, чтобы это запало Оле в самое сердце, но корабль сам отвлек его мысли новым событием.

На корабле готовился десант. На комсомольском собрании все объявили себя добровольцами. Но с миноносца требовалось только пятнадцать человек, умеющих хорошо владеть ручными автоматами, штыком и минометом. Кротких под эти требования никак не подходил, и командир боевой части на него даже не взглянул. Кротких пошевелил пальцами — и промолчал: в десанте он, несомненно, был бы лишним человеком.

Однако, когда на рассвете миноносец подходил к месту высадки и когда десантники вышли на палубу с оружием и ящик с минами был поставлен на корме, готовый к погрузке на шлюпку, вся душа в нем заняла. Мины лежали в ящике ровным рядом, пузатые, понятные, как снаряды его автомата, поблескивающие возле, — и, конечно, он лучше всех мог бы вытаскивать их из ящика и подносить к миномету. Он вздохнул, но тут миноносец резко повернул, заверещал свисток командира автомата номер два: налетели самолеты и пришлось отбиваться.

Автомат залаял стрывисто и четко, но что-то простучало по палубе, как горох. Трофимов упал, выронив снаряд, и автомат захлебнулся: шкиров-

щик дал очередь из пулемета. Кротких подскочил к орудию и, быстро нагибаясь к снарядам, им же самим приготовленным на мате, накормил голодную обойму. Автомат вновь заработал. И все внимание ушло на то, чтобы успевать брать из ящика новые снаряды и вставлять их в обойму, и совершенно некогда было подумать, что вот наконец он, Кротких, сам ведет бой. Рядом с бортом встал огромный столб воды и дыма, что-то провизжало мимо орудия. Вслед за бомбой в ту же вздыбленную воду с воем и ревом врезался самолет. Кротких заметил лишь хвост с черным крестом и понял, что они все-таки сбили немца, нахально «пикнувшего» на миноносец, у которого замолчал автомат. Но и этому он не успел ни обрадоваться, ни удивиться, потому что сзади него закричали:

— Мины!..

Он обернулся. Ящик с минами горел, сильно дымя. Мины в нем вот-вот должны были начать рваться. Он увидел, как в дыму мелькнула чья-то фигура, как чьи-то руки попытались приподнять ящик и как потом краснофлотец (кто — он так и не разобрал) отскочил. Гущев отчаянно махнул рукой, сорвал с себя телефонный шлем и крикнул:

— Все с кормы!

Каждую секунду могли рвануть два десятка мин, из которых и одной хватило бы на весь орудийный расчет. Кротких вдруг подумал, что вслед за минами начнут рваться в пожаре и его снаряды, а за ними — погреба и весь корабль, и шагнул



было к ящичку. Но тут за кормовой рубкой грохнуло четвертое орудие, и ему показалось, что уже грянула взрывом пылающая в ящичке смерть. Это было так страшно, что он ринулся с кормы вслед за остальными. Шаг в сторону ящичка оставил его позади всех, и отчаяние охватило его: если он споткнется, ему никто не поможет. Подлое, паническое малодушие подогнуло его колени. Он сделал усилие, чтобы шагнуть, и вдруг далеко впереди, у носового мостика, увидел комиссара.

Филатов, расталкивая встречных, бежал на корму, и Кротких понял — зачем. Догадка эта поразила его. В два прыжка Кротких очутился у ящичка и, обжигая ладони, ухватился за дно.

Ящик был слишком тяжел для одного человека. Второй — бежал на помощь. Но этот второй человек был комиссар корабля, и подпускать его к ящичку было нельзя.

Он присел на корточки и схватил раскаленный стабилизатор крайней мины. Ладонь зашипела, острая боль на миг захолонула сердце, но мина вылетела за борт. Он тотчас схватил вторую.

Может быть, он что-то кричал. Так потом рассказывали ему товарищи: говорили, что он прыгал на корточках у ящичка, танцуя какой-то страшный танец боли и ругаясь во весь голос бессмысленно и жутко. Но мины летели за борт одна за другой, быстро освобождая горящий ящик. Выпрямляясь с очередной миной в руках, он увидел комиссара: тот был уже у кормового мостика, рядом со смер-

тью. Тогда Кротких, надсаживаясь, поднял на поручни опустошенный наполовину ящик. Пламя лизнуло его лицо. Бушлат загорелся. Он отвернул лицо и сильным толчком сбросил за борт ящик. Потом ударил по бушлату ладонями, уже не чувствующими огня.

Тут кто-то крепко и сильно охватил его плечи. Он повернул голову. Это подбежал комиссар.

— Ничего, товарищ комиссар, уже тухнет, — сказал он, думая, что комиссар тушит на нем бушлат.

Но, взглянув в глаза комиссара, он понял: это было объятье.

---